

Ищущим это состояние хорошо ведомо... Все ищущие жаждут истину найти, но когда между ними и между истиной вдруг возникает бездна, — они чувствуют что-то ужасающее, и навсегда отказываются искать!.. С Иваном Карамазовым случилось то же, — Достоевский ловко успел в эту минуту перебросить мостик между карамазовщиной и религией, — но Ивану Федоровичу стало не по себе. Как и Ставрогин, — он чувствует в душе своей убийственную пустоту. Да и не удивительно: он понял, что такое тот пресловутый круговорот вечности, который Ницше приводил в умиление, а Карамазова да и всех, кто поймет, — только ужаснул своей бесцельностью:

«Теперешняя земля, может, сама-то биллион раз повторялась; ну, отживала, леденела, трескалась, рассыпалась, разлагалась на составные начала, опять вода яже бе над твердию, потом опять комета, опять солнце, опять из солнца земля, — ведь это развитие, может, уже бесконечно раз повторяется, и все в одном и том же виде, до черточки. Скучища неприличнейшая...» («Братья Карамазовы»).

Если такова окончательная цель всякого искания, всей жизни и всех стремлений, то кто может не позавидовать Карамазовым и их апофеозу наслаждения? Кто не поймет очарованья минуты, кто сможет устоять перед дьявольскими искушениями?

Ибо, в конце концов, — важно одно: лишь бы забыться — хоть хитростью, хоть обманом, — но только забыться, прихлопнуть рассудок, в забвеньи своем уничтожить мысль о том, что ни цели, ни истины нет и не может быть...

Важно одно: спасенье придумать, все свои силы употребить на изобретение спасенья... Ибо поистине *«всех веселей тот и живет, кто всех лучше себя сумеет надуть!»*.

1910–1912 гг.

## Религия. Психологические параллели

<Фрагменты>

В странах холодных, покинутых, угрюмых, в странах глубокой, надрывной тоски, где солнца меньше, где хмурые, серые дни, где в сумерках воет отчаянье, где дикая жизнь и рабская доля, где казематы и тюрьмы, где степи и глушь, и бездонное горе — там ждут Христа с особенной болью, там всего нужнее и ближе Христос!..

В России — в бледной, измученной стране скорби и ужаса, дикой тоски и уныния — вся душа изнывает, вся душа рвется ко Христу. В России — и может быть — *только в России* — возможно истинное царство Христово. И только в России могут так безмерно мучиться красотой лика Христова, так безмерно тосковать по Нем, так бездонно молиться!.. Это страна таинственной тоски, страна вечной тайны, страна прозрачной печали, и только здесь люди соединились для странного творчества во Христе, для смутных предчувствий, для тревожных и жутких ожиданий, для распятий, для жертв, для молитв, для все одного и того же желанного чуда всей жизни!..

Какая глухая, какая жуткая ночь, и нет пощады от призраков, и нет отдыха от кошмаров, но в самой глубине ночи сияет какая-то необъяснимая, какая-то робкая надежда, но в недрах, в чашах, в провалах, в безднах блуждают огни, загораются костры, вспыхивают пожары, и близится зарево восхода, и будет светило это необычное, какого еще не видел мир, «от востока звезда сия воссияет»...

Для мира Христос один и тот же, для России — Христос особенный, *Христос Русский*, белый, *Христос* воскресший из страданья!...

Одни ищут и ждут Его вне церкви, оторванного от всего мира, в отчаянии своем Его ищут, для своего спасенья, для *своей* жизни, для своей комнаты, для своего одиночества!...

Другие мечтают создать Ему здесь церковь, новую церковь, особенную, какой еще мир не видел... Эта церковь, предмет мук, творчества, жизни, искусства избранных людей — художников, литераторов, поэтов, это они создают ее, а не духовенство, — духовенство совсем в стороне, церковь такая ему совсем не нужна!..

Словно в первые века христианства здесь ждут церкви настоящей, Христовой, а не человеческой, понимают ее как что-то спасительное, единственное, что может обновить жизнь, освятить ее, пристанью послужить не только для избранных, но для всей страны, для всех бесприютных, для всех потерявших надежды, для всех разочарованных и погибших!

В мечтах этих людей церковь как чудо цветет, неземным цветом, неземной надеждой, врачует усталую душу, в творчестве этих людей церковь — истинная, непорочная, тоскующая Невеста Христова, для них она заколдованный замок, хрустальная мечта, нечто несбыточное, туманное, неясное!

Одни хотят вернуть церковь к тому состоянию, в котором она находилась во времена первых христиан, другие хотят приспособить ее к культурным запросам современности, третьи желают оставить ее как она есть, со всеми догматами и даже зависимостью от государства, вдохнув в нее душу живую, утвердив ее вечный и незыбле-

мый смысл... От славянофилов, через Вл. Соловьева и Достоевского до Мережковского и Булгакова тянется эта нить русской мечты — мечты о церкви, о роли ее в личной и общественной жизни... В отчаянном усилии, в последнем усилии погибающего, ухватилась душа русская за идею церкви — и в этом ее великая миссия, и в этом залог если не возрождения, то во всяком случае — спасения ее от разложения, от того серого, тусклого, кошмарного состояния, в котором находится весь Запад, по существу своему весь вырождающийся, весь *духовно-буржуазный*...

Русский индивидуализм совсем особенный, и радостно подчеркнуть эту особенность, выделяющую русскую душу из рамок обыденной интеллигентской пошлости, уводящую ее на чудесные поля тайны, делающую эту душу самой загадочной, самой удивительной, самой необычной...

Особенность эта заключается в том, что какого бы отчаянья ни достигал русский индивидуализм, на какие бы вершины ни возносился, в какое бы отрицание ни уклонялся, все же по существу своему он *мистичен*, все же царство русской души не от мира сего, все же, несмотря на весь гнет, на все безумные замыслы, на весь анархизм, на все антихристовы искушения — пути его идут не по земле, а ввысь, к Фаворской горе вечной, единственной тайны, где сияет все тот же роковой Лик, где высится все тот же детский, именно *детский*, хрустальный, прозрачный, сказочный храм!..

Эту особенность рельефно выделило творчество Достоевского, из которого развернулся весь русский индивидуализм, все русское «декаденство», все современное отрицание. Достоевский — этот не только русский, но мировой индивидуалист, равного которому нет в мире, — своей судьбой, судьбой своих героев, судьбой своих гениальных замыслов показал эту основную особенность, особенность русской души, особенность русского индивидуализма.

Индивидуализм Достоевского не мог окончиться в подполье, не мог застыть на мертвой точке отрицания, не мог исчезнуть в мелком болоте обыденщины и трагического бессилия, он почувствовал в себе другие стремления, другие надежды, он на крыльях томительной тоски поднялся в горнюю высь, туда, где кончается тоска и начинается ураган стихийной радости, туда, где минуты неземного восторга разрывают всю душу, и в этих минутах познается вся вечность, вся безбрежная даль, вся головокружительная высь!..

И тот же самый Иван Карамазов, который сочинил антихристианскую «легенду» и весь как будто бы отдался мелкой чертовщине, — пишет статью по церковному вопросу, в которой с юношеским жаром развивает мысль о преобразовании государства в церковь...

Николай Ставрогин, проникший в такие дали, за которыми остается только погибнуть, Ставрогин — величайший русский индивидуалист, равного которому нет, не будет и не может быть — говорит удивительные слова, что если бы ему доказали, что истина вне Христа, то он все-таки остался бы со Христом, а не с этой истиной... Родной брат его — Версиллов — любит русское духовенство и по существу своему религиозен (он даже вериги носил)... И даже Раскольников, этот первый ницшеанец (до Ницше), переходит внутренней интуицией за черту индивидуализма и исповедует покаяние — излюбленное таинство русской души, таинство внутреннего возрождения, таинство весеннего цветения души, таинство чуда!...

Свидригайлову — и ему даже ведомы эти заветные минуты касания миров иных, минуты таинственного причащения небесных тайн, те минуты, которые так любит типичный русский идеолог человекобожества — Кириллов, тоже крайний анархист, но в этих минутах — настоящий религиозный ясновидец...

Димитрий Карамазов — здоровый человек, стоящий над жизнью, этот символ русской стихийности, русского дионисизма, русского раздолья, буйного похмелья, тип по существу своему героический, связанный всеми фибрами тела и души с землей, с ее дыханьем, с ее сладострастными чарами, какой-то русский сатир, карамазовское насекомое, преступное, разрушающее, бурное — даже он, когда очутился в тюрьме, — почувствовал всю Иванову трагедию Богоотрицания, но в душе своей, в самом русском складе ее, в ее подземных неведомых недрах — вдруг ясно почувствовал веру в Бога, присутствие Бога, необходимость Бога, т.е. все то почувствовал, что раньше было ему вовсе чуждо, ненужно, о чем он даже и думать не мог... И как странно звучат в устах Дмитрия эти необычные для него слова, роковые слова индивидуализма русского и индивидуализма Достоевского, все одни и те же кровные, выстраданные, надрывные слова:

— Мне это здесь пришло... вот в этих облезлых стенах... А их ведь много, их там сотни, тысячи, подземных-то, с молотками в руках. О, да, мы будем в цепях, и не будет воли, но тогда в великом горе нашем мы вновь воскреснем в *радость*, без которой человеку жить невозможно, а Богу быть, ибо Бог дает радость, это его привилегия, великая... Господи, истай человек в молитве! Как я буду там под землей без Бога? Врет Ракитин: если Бога с земли изгонять, мы под землей Его сретим! Каторжному без Бога жить невозможно, невозможнее даже, чем некаторжному? И тогда мы, подземные человеки, запоем из недр земли трагический гимн Богу, у которого радость!

Да здравствует Бог и Его радость! Люблю Его! («Братья Карамазовы»).

Вот как проявилась в творчестве Достоевского эта своеобразная особенность русского индивидуализма, особенность, придающая этому последнему религиозное оправдание, особенность, образующая в нем глубокий прорыв в вечность, сообщающая человеческому духу безмерную, головокружительную, бесконечную свободу...

Таким образом, прежний подпольный, рахитичный, бессильный, демонический индивидуализм перевоплощается в индивидуализм религиозный, тем самым обретая неведомую доселе свободу...

Подпольный индивидуализм не был свободен, потому что не было просвета, не было отдыха от безумной тяжести, не было облегченья от мук, все было сгущено в грязную, болотную тучу, где сырая расслабленность, где вечное проклятье, вечный зуд боли и вечная ненависть!.. И не давали душе удовлетворенья эти злобные, хихикающие, ядовитые выпады, после которых собачья приниженность оставалась в прежней силе и не давала жить, не давала дышать; не было удовлетворения и после проклятья, ибо каково бы ни было проклятье, до каких бы размеров оно ни простиралось, а обида все же останется и будет жить в душе, будет жить тупой болью, неисцелимой, гниющей раной; не было возможности на воздух выйти и без страха взглянуть в лицо человеку, не было возможности отмстить плюгавенькому офицеру, который тем и обидел, что не обратил никакого внимания, — и именно от этого надрывалось в муках ночных несчастное, забитое, рабское сердце, истекало кровью, терзалось, трепетало, как раненая птица, падало, разбивалось, в ужасе, в трепете, в рыдающей невыносимой боли билось в сыром подвале, изнемогало, таяло, умирало, уничтожалось в одном сознании, в сознании своей беспомощности, своего бессилья, своего безысходного унижения!.. Такого состояния живая душа не может долго выносить, не может по существу своему, такого рабства — беспросветного, болезненного чадного, — не мог вынести Достоевский...

И вот в эту минуту ему на помощь пришло религиозное сознание, которое многое изменило, многое преобразило, многое обновило в его жизни и творчестве, хотя *не спасло*... Оно освободило душу его из подполья, вывело на свет Божий, раскрыло неведомые горизонты, о которых он до того не имел и понятия, оно приобщило его к тайне русского творчества, к тайне глухой и мучительной, но дающей странный восторг, странный трепет, неземные предчувствия истрадававшемуся, закосневшему, уничтоженному в бесплодном анархическом бунте духу...

И нет сомнения, что этому религиозному освобождению Достоевский обязан жизнью, благодаря ему он сохранил в себе силы, благодаря ему — он стал гениальным писателем, благодаря ему — он был в со-



стоянии нести непосильный крест человека, который обладал невыносимо утонченной душой, который чувствовал то, чего не может вынести ни один человек, который знал такие тайны, раскрытие которых, может быть, разрушило бы весь этот мир до основания!..

Это освобождение рабскую душу напоило горним светом, оно открыло перед этой душой такие дали, пред которыми она поверглась в ужасе, в трепете, в судорогах, в немом, обессиливающем экстазе, и только в уста Кириллова да князя Мышкина вложила свое чудесное знание о тех минутах, когда душа отделяется от тела и становится причастной божественной тайне, о тех минутах, которые не выносимы, которые известны только избранным, только озаренным, только блаженным!..

В чем же эта новая религиозная свобода Достоевского, в чем сущность этой свободы, в чем ее сила? Прежде всего и несомненно — в расширении горизонтов духа, в соединении земного с небесным... Пред Достоевским развернулась светозарная дорога, и не было ей конца, и конец был невозможен, ибо она уходила в вечность, и по этой дороге пошла его душа.

Подпольная, горькая, отравленная правда преобразилась в правду религиозную, анархические замыслы оказались пред этой единственной, правдой ненужными и постылыми, злоба, проклятье, ненависть, разрушение, адское, порочное, преступное хоть и сохранились в нем, но не в них теперь было главное, все это подчинилось чему-то новому, чему-то совершенно отличному от прежнего — чудотворной мечте всех этих юродивых, блаженных, припадочных, больных, всей широкой и необъятной святой Руси...

И это было вовсе не ограничение личности, как это может показаться на первый взгляд и что особенно замечается в религиозном перевороте Толстого, в том-то и вся красота и сила личности Достоевского, что религия не сузила горизонтов его духа, не ограничила, не обескрылила его, а наоборот — расширила, углубила, придала ему необычайный, гениальный размах, и благодаря ей он оказался в силах проникнуть в такие дебри, постичь такие тайны, заглянуть в такие глубины, которые раскрываются только религиозному творчеству и возможны только в нем.

Страшная молния озарила черными тучами покрытое небо, и из оглушительного грома, из слепительного сверкания, из кровавой обнаженности неба — родилась светоносная, опьяняющая весть...

Трагедия преобразилась в мучительной боли восторга из бессилия в героическую силу...

Но не было спасенья, не было детской улыбки, той единственной улыбки, уничтожающей ненужную тяжесть, которая облегчает муку...

Нет, мука осталась, мука снова сжала в своих беспощадных объятиях душу, снова морем кровавым разлилась в мозг.

И мука была безгранична...

И мука была — Бог...

### III

Эта мука от Бога прошла сквозь душу, сквозь жизнь Достоевского, она родила в нем не только веру, не только христианскую добродетель, нет, она вызвала целую бездну сомнений, множество глубин манящих и неизведанных открыла ему, множество самых безумных замыслов зародила в нем, и вот — целое царство, целая страна, целый мир перед нами, и в нем — все та же неуспокоенная больная мука, и в нем все тот же бред, все то же творческое безумие... Безумие неразгаданных снов... Безумие гения...

Да, не было покоя в этой навеки потерявшей всякое спокойствие, всякую гармонию душе!.. Не было ни одной минуты, когда бы не трясла им эта роковая, надрывная лихорадка... Не было пристани, где бы кончилось воспаленное горение... Не было силы, которая бы смогла залечить его раны и снять с сердца невыносимо тяжелый камень!.. Такого страданья не вынесет, не может вынести одинокая душа, а его душа — уже вследствие своей гениальности — не могла не быть одинокой... Такое страданье делает творчество пыткой одной, и не будет забвенья ни в радостях творчества, ни в славе, ни в вечности!.. А сердце так просит хоть минуты одной, когда бы появился хоть луч один надежды, а сердце замереть хочет в спокойствии, сердце больное устало от мук, надорвалось от жизни, надорвалось в желании уйти от себя!.. И не надо уже ни глубины, ни боли, ни счастья от снов безумных, не надо таланта, хочется только уверенности в себе, хочется облегчения, оправдания, выхода, хочется всю жизнь продать за одну уверенность, что все это, вся эта мука не только сон, не только кошмар, а правда, ради которой стоит жить...

Достоевский в последней муке нашел свою правду, правда была Христос... И вовсе не система какая-нибудь религиозная, не соловьевская философия, не книжная риторика была его правда (в этом случае он оказался бы в дураках), а живой, воплотившийся в русскую душу Христос, тихий, истерзанный, безмерно прекрасный Христос, что-то родное, что-то опьяняющее светом, что-то снова безумное, снова страдальческое, снова надрывное, но зато дающее жить, дающее *уверенность жить*, роднящее с вечностью, с народом, с церковью, с миром!..

И вот для выбора два пути: или душу умертвить догмой, или — предать Христа искушениям своим, замучить Его пороками своими,

адскими страстями, проклятьями, злобой своей, до черты дойти, душу чёрту продать, полететь в бездну вверх тормашками, истлеть, изгрызться, осатанеть в черном отчаяньи, а потом — снова с рыданьем, с воплем, с ужасным звериным криком припасть ко Христу, истаять, исчезнуть, воскреснуть!..

Конечно, Достоевский по натуре своей — должен был пойти по второму пути. И сколько бы он ни вынес сомнений, в какие бы омуты ни погружался, в какое бы отчаянье ни приходил, но подпольного мрака, но карамазовского бреда уже не было, была тихая жуткая глубь, — и в ней тонула вся жизнь, была незримая спасительная красота, — и она стояла, струилась, таилась вокруг, было близко чудо, — и оно открывало новые горизонты, и оно колдовало!..

Достоевский стал христианином. — Он задумал написать целый ряд романов о Христе, воплощенном в русской жизни, о новой земле, о новом Христовом Граде, о новом христианине, которого должна создать Россия и в котором — ее будущее, ее оправдание, ее новая жизнь. Вместе с Вл. Соловьевым он ездит в знаменитую Оптину пустынь, вся жизнь русского монашества, все сокровенное, все глубокое, что таит в себе Православная церковь, иночество, бродячая Русь, Русь подвижников, старцев, юродивых, блаженных, — проходит мимо него, в душу теснятся кровные, родные, чудные образы старца Зосимы, Алеши, в душе сквозь чад и бред, сквозь застывшую черную муку, просвечивает вера...

Достоевский — христианин... И вот из творчества воскресает в образах, в живых символах — его христианское настроение... Перед нами: кн. Мышкин, Шатов, старец Зосима, Долгорукий-отец, Алеша и другие. Перед нами живые лики этого третьего мира Достоевского, и в психологии этих лиц, в их переживаниях, в их действиях — ключ к пониманию их творца... И не рассуждения, а только проникновенное слияние с этими созданиями должно указать нам путь к душе великого писателя, иными путями, за отсутствием полной и верной биографии Достоевского (которой, к нашему стыду — еще нет) — идти и невозможно...

На первом плане — самое загадочное, самое удивительное лицо, равного которому по грандиозному замыслу и не найдете у Достоевского — лицо этого русского, истинного русского христианина, этого очаровательного юродивого — князя Мышкина...

Вот, приблизилось оно и засияло, и словно душистое облако тает в душе, и радостно; и совсем не то лицо у него, что в романе, очерченное двумя-тремя ничего не говорящими штрихами, а другое, совсем другое... Вот такое, как на картинах Нестерова — единственного художника, который мог бы его воссоздать, такое вот, как у Отрока



Дмитрия Убиенного, но, пожалуй, — еще рельефнее, еще более захватывающее, чтобы глаза были чуть-чуть безумные и тихие, и тоскующие, манящие в глубину, в нужный омут прозрачной глубины, а вокруг глаз — синева, и щеки бледные, а на дрожащих, непорочных губах — неземная улыбка, и в улыбке — самая главная, томительная, захватывающая прелесть!.. Ангел... Серафим... Ребенок...

Все, что было у Достоевского неземного, непорочного, светлого, больного, нездешнего — вошло в этот образ, воплотилось в него, ожило и пошло в жизнь...

В жизнь его нарочно отправил, может быть, с не меньшею злобой и сарказмом, чем у Рогожина были, — направил...

Может быть, было желание увидеть, что скажут люди, когда к ним подойдет *такая* душа, как примут они ее, смогут ли понять?..

Может быть — снова рукой водил диавол и нашептывал тихие искушения, и вместе смеялись, надрываясь над миром, людьми, и вместе бросали в пошлость и грязь белоснежную душу, и боль была от обиды, и горечь была беспредельна, и едкий смех сменялся слезами без искупления, слезами над миром, людьми, над душой своей одинокой отравленной, ни миру, ни людям ненужной?...

Ибо не на словах, не в прекрасно написанных книгах хотелось христианином быть, нет, нужно было понести свою правду в жизнь, в самую обыкновенную жизнь, к самым обыкновенным людям, нужно было снова увидеть хоть отблеск, хоть тень рокового лика здесь, сейчас же, на месте, в пыли и грязи, среди улиц, в гостиных, на рынке, в чаду страстей и интриг!..

Пусть предстанет пред глазами воскрешенная правда, ибо раз она правда — нужно беспрестанно, бесконечно, неутомимо воскрешать ее всюду, — чтобы жила она во плоти и крови — живая, чтобы вновь и вновь постигать ее сокровенный смысл, чтобы вновь и вновь созерцать красоту ее, пить ее кровь, пить воду живую и вечную, распинаться в тоске и сомнениях, гореть, пропадать, воскресать!..

Вот каков должен быть русский христианин, вот оно — наше чудо! — говорит Достоевский, облакая Мышкина в жалкие штиблетишки, толкая в передние, предавая насмешкам, оскорблениям, терзая его беспощадно, издеваясь и злобствуя, и снова с надрывом любви припадая устами к бледным, прозрачным, ненайденным, нездешним чертам!..

Какая пытка — создавать подобное лицо и в нем видеть исполнение своих жутких замыслов!.. Нет ли в этой хитрой, несомненно хитрой, работе — известной доли богохульства? Есть, без сомнения есть... Но Достоевский не был бы самим собой без богохульства, это уж так, это верно!..

Вот он ведет Мышкина на муки от жизни, сам знает, что этот не от жизни, и не здесь ему быть, а оставаться нужно у Шнейдера в лечебнице, ибо все, что не от жизни, — должно быть в лечебнице, иного места еще не выдумали; а все же — ведет, подталкивает, хохочет...

*Жестокий талант* — вот это определение известного критика, совсем не понявшего Достоевского, — сейчас же и всплыло, когда видишь эти авторские затеи... Впрочем, чем было и наслаждаться, кроме жестокости и саможестокости, такая уж была душа от природы!...

Как живут эти люди! Целый серый ад, целый серый кошмар!.. Во что они превратили дни свои, куда, в какое место спрятали они душу свою человеческую, что сделали они из жизни!.. Эти генералы Епанчины, Иволгины, эти Тоцкие, Ганечки, Фердыщенко, все эти скотские рожи, скалящие зубы, хрюкающие над всем святым, над всем вечным, сытые, с глазами, заплывшими жиром, из грязи своей хрюкающие беспощадно!.. Все помыслы направлены на интриги, на деньги, на спасенье, на карты, на мелкие страстишки, на сальные развлечения... Певички, концерты, духи, бриллианты, сонная одурь из мутных душ, тошнота и рвота, и мертвая безмятежность, и мертвая пыль от всех дел, от всех бумаг, от всей жизни!.. И жирное генеральское сало, и тощая чиновничья Ганечкина злоба, и юродивая лебедевская пришибленность — одинаково мерзки, одинаково ужасны, как ужасна вся реальная жизнь — обыденщина от Гоголя и до наших дней!.. Только Гоголь-то, может быть, один и понимал мертвый этот ужас человеческой ежедневной жизни, Гоголь, потому может быть, и сжег всю эту бесконечное число раз воплощенную мерзость, что не вмоготу стало больше ее воплощать, что вовсе никакого смеха не может быть от того, что мертвая жизнь и мертвые души, что забыть, поскорее забыть ему было нужно весь этот серый ужас, оттого и сжег его, оттого и умер, оттого и «лестницу!» кричал... И не пора ли наконец изъять эту червивую мерзость из всех повестей, романов, не пора ли понять, что не надо ее, что она хуже всякой литературы и что вся мерзость литературы — ничто в сравнении с этой проклятой действительностью, все остающейся объектом для художников!.. Не пора ли предоставить это постыдное, черное занятие газете и разом отделиться от пошлости, отбросив ее в сорную яму? Не пора ли творить только вечное, а то, что душит, что душу гложет, что тошнотой выворачивает внутренности, — предать беспощадной казни?

Достоевский все эти гостиные, меблированные комнаты, трактирчики — покорно описывал, ибо иначе, без них — не выходило бы романов... Сюда и Мышкина повел...

За человеческую душу страшно в этой жизни, но если еще эта душа не такая, как у всех, если в ней сияет красота, если она вся дрожит

здесь, трепещет, рвется отсюда вон, к голубому чудному небу рвется, и напрасны молитвы, напрасна любовь, напрасен подвиг, потому что нет ей здесь спасенья, — то страх переходит в ужас и хочется — пусть бы умерла лучше она совсем, во имя избавления от адского, невыносимого понятия: «жить»!

Глубокие души, пусть не касаются они жизни, пусть пролетают они над землей нерожденными, пусть исчезают в вечности, пусть ангелы, которые несут их, — знают земную истину, великую, смертоносную истину, на которой строится жизнь, истину о том, что как бы ни была глубока душа, как бы ни была божественна ее глубина, — ее убьет пошлость, ее раздавит ползучая, гадкая, склизкая, мокрая пошлость, вонью своею задушит, замучит, истомит, развратит, прахом развеет!..

Сколько раз (и какие титаны) пытались спасти этот мир, — и что осталось от их попыток? Был человек, равного которому нет и не будет, — и даже Его мир не пощадил, распял Его мир, кровью Его, мукой Его, смертью Его захлебнулся, и не погиб мир, нет, проглотил все это без труда и стоит — огромный, — стонет, хохочет, ревет, чадом, вонью, гулом, ядом, трупной заразой отравляет воздух прозрачной вечности, с непоколебимым спокойствием, с немим равнодушием огромного жвачного животного — тупо ждет своего суда!.. И суд придет, придет великий, страшный суд, карающий землю за все ее дела, за все кресты, за все обиды, за все поношения, за всех распятых, за всех замученных, за всех оскорбленных, и не будет пощады миру, и мир погибнет!.. И если отнята последняя надежда на воскресенье, на вечную жизнь, если отняты все силы, если оставлены без ответа все мольбы, все жалобы, все вопли, все проклятья, то нужно жить хоть этой слабой, больной надеждой, надеждой на суд, который придет, который должен прийти, иначе вся жизнь и все мы — обман!

Все вокруг сами распинаются, сами убиваются, если их не хотят мучить; все поскорее стремятся тело свое бросить на растерзание страшному Зверю, — лишь бы только знать, что искуплена чем-нибудь их жизнь бессмысленная, темная и глухая, лишь бы поверить, что вместо цели и смысла снова и ныне и вечно в кровавом сиянии горит неизменный крест!..

Да, осветить темную пучину пылающей кровью крестов своих — разве есть, разве может быть путь другой, кроме этого?..

Жизнь дается для счастья. А счастье — обман. Что же делать, где найти свою пристань, где найти свой необманный обман, где найти свою вечную правду?..

Или нужно только гореть, неизменно гореть, из себя раздувая костер, на костре своем позабыв и о лжи, и о правде?.. Никто не ответит...

Но вот — снова рождается распятый Бог, снова сияет Лик, снова радость...

И должно быть — несказанный восторг в душе у того, кто верит, кто чувствует, что Его слышит Христос, что Христос припал грудью к многострадальной земле, и доносится до Него каждый ее звук, каждое рыданье, каждая слеза!..

И молится душа: о, приблизься ко мне, загляни в мою душу, воскресни! Воскресни в слезах моих, в крови моей, в поте моем, в огне пылающем, воскресни, явись!..

\* \* \*

Огромный, каменный город, царство князя мира сего, царство бездушное, мертвое, холодное, — открыло свою пасть, — и как в горниле — в муках черных, в грязи, во лжи и коварстве потонула белая, прекрасная, святая душа!..

Как раз совершаются злые затеи, тихие, змеиные соблазны, готовят куплю и продажу, душой торгуют, делят ее на части, хотят продать Настасью Филипповну, купить ее от Тоцкого для Ганечки, а Ганечка уж за известную сумму должен уступить ее генералу Епанчину...

А та, которой торгуют эти люди, — обезумела от нанесенной обиды, вся дрожит, вся готова к кровожадному прыжку, как пантера, и такая усталая (сколько страстей, сколько вожделений, сколько огненных помыслов сквозь душу ее прошло!), и такая бледная и такая отчаянная!.. Закружила им головы, отуманила — чудный, редкий товар, редкая красота...

И Тоцкий хочет от нее отделаться, весь испуганный, знает, что она и на преступленье решиться может, и Ганечка ненавидит ее как свой будущей позор, как свою муку, как болезнь свою, Ганечка Аглаю любит...

А из туманного угара глядят пылающие, раскаленные в больном огне страсти глаза Рогожина, сторожат ее всюду, упиваются каждым шагом, готовятся к нападению...

Вся ослабевшая от этого похмелья страстей — злобно смеется, устраивает скандалы, дышит злобой, ненавистью, горем, свою безумную боль, свою неизлечимую рану, свою изломанную, несчастную судьбу заливая жертвенной кровью страдания!..

А души не видит никто!.. Душа обвита пьянящим телом красоты, — и множество рук в трепете, в жажде тянутся к ней; как собаки воют люди, прыгая около лакомого кусочка, каждый хочет себе, каждый

другого зарежет из-за обладания, кровью, слюной похотливою, потом и грязью брызжут в лицо, повисшее над ними...

А на лице гордая замершая скорбь... А на лице испуг и презрение, и очарование бессилья. И грусть...

Все эти люди полны человеческого и дальше человеческого не могут пойти. И сыты. И если бы даже в душу закралась мысль о каких-то мирах нездешних, о каком-то невозможном царстве — они бы заглушили эту мысль иронией, смехом своим нечистым, бранью, сытостью здоровых скотов!.. Все эти люди не знают черты, за которою открывается ужас, смятение, безумие... Все эти люди уверены, что их жизнь — самая правильная, самая безукоризненная, самая образцовая жизнь... И довольны...

И вот приходит Мышкин. Лицо странное, движения неуверенные, кротость, улыбка, разговаривает о душе своей с лакеем, не знает, что прилично, а что — нет, верит каждому и каждого любит; когда над ним смеются, он смеется тоже, полнейшее отсутствие хитрости, продажности, злобы, ничего человеческого, никаких страстей ничего земного...

И сейчас употребили готовую кличку: идиот. Эту кличку подхватил Достоевский, поставил заглавием, любитесь...

Ну, конечно же, другой клички нельзя и найти... Все, что выходит из рамок жизни, — отправляют в лечебницу, — всякий, кто не может жить как все, у кого нет «приличного жеста», кто не умеет лгать и обманывать, — тот идиот!

Он жил вдали от людей. До 24 лет был безумный... Потом вылечили. Толкнули в жизнь.

Шнейдер обучал наукам... Шнейдер с трудом убедил, что вот там где-то живут люди и у них своя жизнь, и эта жизнь правильная, и другой быть не может...

Еще объяснил Шнейдер, что люди живут по законам разума и разум — царь этой жизни, а кто отступит от него хотя бы на йоту — погибнет... Еще Шнейдер обучал правилам арифметики, грамматики, логики... И началась жизнь!..

Как трудно, как жалко было спускаться вниз, по ступеням разума, каждая ступень давалась ценой невыносимой боли, и все было чужое вокруг — эти лица, эти речи, эти слова, эти странные поступки, которые назывались правильными и образцовыми, вся эта чужая, непонятная жизнь!..

Словно из мира горнего, из мира красоты — такой чудесной, которая должна мир спасти и которая снилась в безумных снах, — словно из этого никому не доступного мира, где небо слилось с душою в одном неразрывном объятии, — выбросили, вытолкнули вниз, на эту землю,



к этим людям, в этот клубящийся ад, который зовут единственно верной действительностью, обучили приличным жестам, заставили жить!

Покорно стал жить, покорно слушался Шнейдера, приехал в Петербург, к этим людям, которые смеются над ним и называют идиотом, сам поверил, что он идиот, но что такое жизнь и зачем она — понять не мог...

Широко раскрытыми детскими своими глазами глядел вокруг, улыбался, любил, принимал все, старался понять, не мог!

Жалел, что нет Шнейдера... Тот бы ему все разъяснил, он имел на него магическое влияние... Он бы ему прекрасно разъяснил, по пунктам, — и все бы стало понятно, и он бы поверил, и не было бы сомнений...

Эти Шнейдеры могут сделать так, что и сомнений не будет, они сумеют доказать, что человек машина и что всякие волнения души излечиваются бромом и гидропатией — и всегда достигают результатов!..

Но Шнейдера не было... Вокруг были чужие люди. Люди творили ад, торговали собой, торговали другими, говорили приличные слова, а в душе издевались над человеком, лгали неумолимо, артистически, сонная скука, беспросветная чадная ночь, сонная одурь царили над ними, — и это называлось действительностью, построенною по законами разума, и все были довольны!..

Но не мог ненавидеть... Любил... Любил всех, жалел всех, входил в положение каждого, понимал несчастных, думал, — если приблизиться к человеку и начать гладить лицо его рукой, долго, нежно гладить и улыбаться растерянно, по-детски, — то все пройдет и будет хорошо!

Но мучительно было с людьми, люди не понимали улыбок, люди гасили улыбки холодом, злобой, презрением, и не нужна была никому его ласка, не нужна душа улыбочивая, светоносная, женственно нежная, и было от этого больно!..

Вот дети — те его принимали, дети понимали его с первого слова и были в восторге. И Шнейдер говорил: «Вы ребенок»... — А он убеждал всех, что только дети — правда и что нужно лечиться через детей.

Это была душа не только религиозная, но как бы носящая в себе небо, это было нечто божественное, оторванное от неба и по ошибке попавшее на землю... А от земли была боль, земля была непонятна, земля была чужая всегда и люди чужие, и беспомощная, детская, растерянная любовь была к людям!.. Там, откуда пришел, где находился до 24 лет, — было совсем иначе, как — рассказать не мог... Правда, там была больная, мрачная тяжесть, там был смутный хаос, там была бесконечность, но там же было и хорошо, хорошо оттого, что не было никаких слов, никакого разума, никаких сомнений, никакого обмана, хорошо оттого, что душа возносилась, душа поминутно отделялась

от тела и пребывала — где? неизвестно, — может быть, в голубом небе, может быть, среди сонма ангельских ликов, может быть, у престола Христа!..

Странные, волнующие, безмятежные звуки рыдали и пели в душе, душа была как одна вечность, как вечность, живущая в музыке, душа была как беззакатное, пылающее, творческое чудо... Там была красота.

Но нельзя припомнить, нельзя возродить ее в разуме. Она выше разума, она выше жизни... Она как Жена Облеченная в солнце...<sup>1</sup>

И теперь только снится в усталых безнадежных земных снах, и болью сжимается сердце, и хочется рыдать, хочется душу утопить в рыданиях, когда проснешься... И зачем тогда жизнь?..

Теперь — только отражения, только мгновенные возвраты, только тоска, только слабость... Теперь только сон, сон тяжелый и мрачный... Теперь тюрьма!

Достоевский чудо свое облек нарочно в это худенькое, никому не нужное, больное, странное тело, нарочно заставляет мучиться Мышкина в жизненных цепях... Он знает прекрасно, что Мышкин не от жизни, что все его христианство призрачно и тает как пар от прикосновения к жизни, он знает, что это — лишь символ горнего мира, лишь ангельский лик, повисший над жизнью этих людей, чтобы манить, чтобы очаровывать, и напрасно он вкладывает в эти уста свои христианские рассуждения, они под стать Соловьеву, Аксакову, Самарину<sup>2</sup>, кому угодно, только не Мышкину, который не может рассуждать, как бы ни хотел этого Достоевский, который может только по лицу гладить рукой или смотреть в душу безумными своими глазами и говорить без слов о непостижимом, о запредельном, о тайном.

Для славянофилов, для христианских философов, для всех умных людей мира сего вера нужна как мирозерцание, как система, как догмат, без которых жить они никак не могут, вера для таких людей есть и может быть только средством, а не целью, да они убьют своим разумом и своими речами всякий огонь веры, всякий экстаз, всякое безумие! Они так привыкли к словам, они так поработаны землей, так испорчены наукой, что все — всякий дар Божий у них превращается только в одни ненужные фразы.

Мышкин совсем не такой... Он именно единственный *истинный христианин* в творчестве Достоевского, единственный, кому можно открыто поверить, единственный, кому можно без колебания открыть душу... Это — одно воплощение веры, той детской, беспомощной, но бездонной веры, которой отличается истинное христианство... Он ни перед чем не поколеблется, не задумается, он на все готов пойти, он полон безумия, полон экстаза, он полон той больной красоты, новой, непостижимой красоты, которая кружит душу, уводит душу на таин-

ственные пути и обрекает на мученья, на тоску, на неудовлетворенность земным и возможным!.. Он именно из тех немногих — юродивых, блаженных, которые бродят по русской земле вечными странниками и о которых еще Вл. Соловьев выразился, что именно они могут быть названы людьми истинного христианства.

Мышкин — это воплощенное чудо в жизни, то чудо, о котором Достоевский думал, что если даже не спасет оно мира, то, по крайней мере, — удивит всех, наполнит душу странным восторгом, заронит помыслы и видения не от мира сего, жуткою дрожью проймет!

Но нет, только две женщины поняли это чудо, поняли и преклонились пред ним с молитвой, с восторгом, с любовью приняли его в свою душу...

Все же прочие остались в недоумении. Они отнеслись к нему как к уроду, как к оригиналу, как к потешному Дон Кихоту, они хоть и понимали, что он выше их, выше их жизни, но в душе при всем расположении к нему — смеялись над ним же, не могли простить ему его неумения держать себя в обществе, его простодушия, его обнаженной откровенности... И жизнь не изменилась, никто не пошел за ним, никто не уверовал в его Бога, он оказался ненужным в этой жизни, как не нужны в ней все необычные, все безумные, все знающие тайну люди... Таким людям жизнь никогда не простит их необыкновенности, таких людей жизнь замучит, исковеркает, испошлит или выбросит вон, — и только немногие, родные души робко приблизятся в недоумении и пойдут за ними к одной цели — безмолвные, грустные, ненужные никому и одинокие до отчаянья...

Настасья Филипповна полюбила его за то, что он увидел сквозь красоту тела ее несчастную, одинокую, обезумевшую от страданья душу, приблизился к этой душе, хотел взять на себя весь ее позор, всю ее тяжесть, принести всего себя в жертву во имя ее, во имя той красоты чудесной, которая так близко была его душе и которую он уже видел неизвестно где, не может припомнить — может быть, в снах...

Это здесь, в ней он увидел отражение своих погибших миров безумия, которые были жизнью его, которые были его небом — и весь содрогнулся, и полюбил...

Та затаенная больная грусть, что светилась в глазах ее и которою она была обвита вся словно гирляндами странных, усталых, нежных цветов, — эта грусть, может быть, была содержанием тех его погибших миров, той покинутой заколдованной страны безумия, в которой он пребывал столько лет...

И в больном теле — больная любовь... Любовь странная, почти невозможная в мире, почти чудесная, истинно христианская, бесполоая, бесстрастная, безмятежная, вся как улыбка одна — эта его чарующая,

измученная, странно детская улыбка, вся как неземной восторг, вся — одна душа, только душа!..

Сколько женщин тоскуют именно по такой любви, сколько женских жизней вянут и умирают оттого, что *такая* любовь, любовь-мечта, любовь-небо, любовь-тайна — не пришла, сколько обманов, сколько жертв, сколько разбитых душ оттого, что даже в любви — земля!.. Над ожиданием подобной духовной, небесной любви смеются, называют это институтскими мечтаниями, но белый цветок чудесной любви цветет тайно и скрытно в женской душе, цветет и дрожит, замирая в безумной тоске, вздрагивая от оскорбления землею юных снов, снов о невозможном чуде, обливаясь кровью все одной и той же трагической жертвы в пользу земли!..

То, что было невозможным для мира, — возможно для этих странных больных детей, юродивых, возможно для Мышкина! Он любит Настасью Филипповну, любит Аглаю, и обеих любит только *духовно*, без малейшей примеси плотского, без всякой страсти, без всякого физического желания, он любит их любовью ребенка — невинного ребенка, оторванного от снов безумия к грязной, постылой земле, любит больше жалея, больше восхищаясь, больше молясь, чем желая — и в этом второе чудо этой загадочной души, этого пророка новой красоты на земле... Он соединяет две любви к двум женщинам в одну святыню, и хотя от этого столько недоразумений, столько взаимного непонимания, ревности, мучений, но он чужд всему этому, он целует с одинаковым восторгом и портрет Настасьи Филипповны, и записку Аглаи, и к обеим одинаково чувствует свое детское, больное, неземное, чудесное...

А земля смеется... А земля проклинает... Земля безмолвствует... Не хочет принять земля никаких чудес, никаких подвигов, никаких жертв, у нее свои законы, свои веления — и непреодолимая грязь, и тоска, и пресыщенье, и сон — тупой сон сытых жвачных животных в минуту рождения великого чуда...

Кто верен земле — тот, хотя и будет сыт на минуту, но не оставит его неутолимая, тоскливая, упорная жажда, сделает его вечным странником без приюта, отравит все минуты, и если есть у него душа — он не выдержит гнета земли, не выдержит беспросветного мрака...

Все они жаждут чего-то беспрестанно, и, хоть и получают, — не успокоятся... Ганечка жаждет блестящей карьеры, красивой жены, Лебедев — денег, Ипполит — бессмертия, отмщения за болезнь, разрешения всех жизненных вопросов... Мышкин не чувствует вовсе никакой жажды, не испытывает волнений, не знает страстей, и в этом его счастье!..

Но зато у него есть богатство, недоступное ни для кого, у него есть свое счастье — счастье не от мира сего, счастье больное, такое

счастье, которое все сочтут наказанием, которого никто не поймет!.. Это его минуты вознесения, минуты, когда в мучительном припадке душа снова возвращалась в покинутую обитель свою, минуты гениального прозрения, когда вся душа, вся жизнь, весь мир соединяются в одну изводящую боль блаженства, *минуты религиозного экстаза*.

В такие минуты он постигал то, что закрыто от всех, что недоступно никому из прикрепленных к земле, в такие минуты «*кажется, что времени больше не будет*», что вечность проходит сквозь душу, что Бог воплощается в душу.

И вот как Мышкин сам объясняет эти удивительные минуты своего непостижимого счастья: «Какое до того дело, что это напряжение ненормальное, если самый результат, если минута ощущения, припоминаемая и рассматриваемая уже в здоровом состоянии, оказывается в высшей степени гармонией, красотой, дает неслыханное и негаданное дотоле чувство полноты, меры, примирения и восторженного молитвенного слияния с самым высшим синтезом жизни? В том же, что это действительно красота и молитва, что это действительно высший синтез жизни, в этом он сомневаться не мог, да и сомнений не мог допустить!..»

Безумное чудо Достоевского покорило пред жизнью, ибо пред жизнью бессильно все, что не от мира сего, все, что выше середины, но путь, тот единственный путь, которого душа искала всю жизнь и в котором возможно было *преображение* — был найден...

Путь этот был — живая религиозная жизнь в откровениях безумия.

